



Картина мира



Глеб Шульпяков. Моя счастливая деревня. Эссе
Василь Махно. Футбол на пустыре. Эссе.
Перевод с украинского Эдуарда Хвиловского

Глеб Шубьяков

МОЯ СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ

Современный человек не успевает за временем — декорации меняются быстрее, чем он привыкает к ним. Ни в памяти, ни в мыслях от этого времени ничего не остается. Прошлое пусто. Даже вещи исчезают из обихода, так и не состарившись.

«Куда все исчезло? Зачем было?»

Тоже лейтмотив жизни.

В ящичке моего стола лежат зарядные устройства. Провода спутаны в клубок, видно, что адаптерами никто не пользуется. «Надо бы выбросить...» Чешу затылок.

Но мне почему-то жалко.

Я отдаю адаптеры сыну, он сооружает из них заправочные станции.

Но жалость, жалость.

В прошлом году я купил избу в деревне.

«В глухомани, настоящую...» — рассказываю.

«Ну и где твоя “глухомань”? — Друзья мне не верят. — Кратово? Ильинка?»

Я показываю на карте: «За Волочком, в Тверской...»

Друзья кивают, но в гости почему-то не торопятся.

«Вы будете в Москве в это время?» — на том конце женский голос.

Я прикидываю в уме, считаю: «Нет, я буду в деревне. Давайте через неделю».

«О, у вас дом в деревне!» — трещит трубка.

«Изба...»

«Как это хорошо — дом, природа. Я хотела бы...»

«Изба! — кричу. — Изба!»

Конец связи.

В прошлом году я купил избу в деревне.

В нашей деревне нет мобильной связи, нигде и никакой. Правда, алкаш Леха (он же Ленька) утверждает, что *одна палка* бывает за избой *Шлёпы*. Я полдня ползаю вдоль стены, пропарываю гвоздем сапог. Чертыхаюсь — нет, не ловит.

Первое время ладонь машинально шарит по карману, однако на второй день о телефоне забыто. Я вспоминаю про трубку, когда пора выходить на связь. Телефон валяется в дровах у лежанки — наверное, выпал из кармана, когда я возился с печкой. С изумлением Робинзона разглядываю кнопки, мертвый экран.

Я пропадаю в деревне неделями, и связь мне все-таки требуется. Доложить своим, что жив-здоров, не голодаю и не мерзну. Что не был подвергнут нападению хищников, не утонул в болоте и не свалился в колодец, не покалечил себя топором или вилами, не угорел в бане и не подрался с Лехой-Ленькой.

«Главное, дождись, чтобы угли прогорели...»

«Ложный гриб на разрезе темнеет...»

«Воду кипятят...»

«Топор ночью в доме — на всякий случай...»

«Клади от мышей сверху камень...»

Наивные люди.

Мобильная связь есть на Сергейковской Горке, но там ловит чужой оператор. Мой ловит в сторону Фирово, но туда в слякоть плохая дорога — ее разбили лесовозами, когда вывозили ворованный лес. И вот спустя месяц я узнаю, что связь есть еще в одном месте.

И что там работают все операторы.

В нашей деревне шесть изб, это практически хутор. Две семьи живут круглый год, одна съезжает на зиму в Волочек, в двух избах наездами тусуются *дачники* (я и еще один тип, известный старожил). Крайняя, Шлёпина, пустует.

— А где хозяин? — разглядываю через выбитые окна горы бутылок и рванины.

— Удавился, — безразлично отвечает Леха.

Еще есть лошадь Даша, корова, теленок и две собаки. Одна собака, Лехина, похожа на героя из мультфильма, такая же черная и осунувшаяся, с седыми проплешинами. Про себя я называю собаку «Волчок». Он сидит на привязи и выскакивает над забором, когда проходишь мимо — как черт из табакерки.

А вторую зовут Ветка, она бегаёт свободно.

Через лес в деревню ведёт проселок — от главной дороги, где кладбище. Погост, каких в любой области множество, полузаброшен. Кресты криво торчат из крапивы, в кустах поблескивает облупленная эмаль. Сквозь буйную, особой кладбищенской сочности зелень чернеет ржавчина. Куски кирпичной кладки, церковная ограда.

Пейзаж вокруг под стать погосту. Первое время ощущение скудности, неброскости, глухости невероятно угнетает меня. Зачем я вообще сюда забрался? Но это впечатление, разумеется, мнимое. Чтобы ощутить подспудное, замкнутое в себе и на себе обаяние этих земель, несравнимое с картинными косогорами где-нибудь в Орловской области — или полями за Владимиром, — надо, чтобы человек забыл про пейзаж, не думал о нем. Ничего не ждал от него, не требовал.

И тогда пейзаж сам откроется человеку.

Рельеф приземистый, стелящийся. Верхняя линия занижена — так выглядит невысоким сарай, заросший травой, или изба, наполовину ушедшая в землю. И возникает чувство неловкости; несообразности себя тому, что видишь; на фоне чего находишься.

Лес непролазен и густ, настоящий бурелом. Облака идут настолько низко, что хочется пригнуть голову. Пейзажные линии пунктирны и нигде не сходятся. Ничего, что можно назвать *картиной природы*, не образуют. Такое ощущение, что сюда свалили выбракованные и разрозненные элементы других пейзажей. Да так и оставили.

В действительности это купол, крыша. Макушка огромного геологического колпака. Высшая точка Валдайской возвышенности (450 метров над уровнем) лежит в соседней деревне, то есть моя изба — страшно подумать — висит немного выше Останкинской башни. И тогда все видишь другими глазами. Все становится понятным, объяснимым. Ведь это бесконечный пологий спуск — вокруг тебя. Скат, по которому сползают леса и пригорки. Отсюда и вид, его характер — фрагментарный, как пейзаж в долине горного перевала.

Ощущение высоты настигает внезапно. В точке, откуда рельеф выстреливает, как пружина. Таких мест немного, но они есть. Специально открыть их невозможно, хотя пару деревень на холмах с абсолютно гималайскими видами я знаю. Просто выбредаешь на край огромной пустоши и — раз! — покатались из-под ног валики холмов, раздвинулась ширма неба. Отъехал за горизонт задник, и огромная,

с хребет сказочного кита, сцена открылась. И этого кита — с перелесками и деревьями на хребте — видно.

Кит, сцена, ширма — да. Но. Требовались конкретные ориентиры, зарубки. Засечки на местности, опознавательные знаки. Не проскочить поворот, не проехать развилку, не угодить в выбоину. Вот впереди римские руины Льнозавода — значит, скоро «проблемный участок дороги». А вот двухъярусная церковь, что от нее осталось (короб), — развилка. Заброшенный Дом культуры, от него через дорогу сельпо.

У дороги мелькает памятный крест, сваренный из арматуры.

— *Шлёпу* насмерть... — мрачно комментирует Леха-Ленька. — Машиной.

Я послушно давлю на сигнал.

За карьером поворот, где кладбище. Последний отрезок. Я вкатываюсь на едва заметную в темноте аллею, притормаживаю. Оглядываюсь. На кладбище две или три фигуры — бродят между могил, как сомнамбулы, приложив к щеке руку.

Выключаю фары, неслышно возвращаюсь. Они разговаривают вполголоса, сами с собой. Их лица, подсвеченные странным голубым светом, мерцают в темноте, как медузы. Пожав плечами, разворачиваюсь. Всматриваюсь напоследок в кладбищенские сумерки — никого, стихло. Однако спустя минуту наверху, на дороге, раздается шорох. На шоссе из кустов выходит человек, потом другой. Третий. И молча расходятся.

Я машинально лезу за телефоном (невроз, знакомый каждому).

Сигнал есть.

Изба есть механизм, усваивающий время. Так мне, во всяком случае, первые дни кажется. Естественное старение материала — то, как оседают венцы или замысловато тянется трещина — как уходит в землю валун, на котором крыльцо — как древесина становится камнем, куда уже не вобьешь гвозди, — во всем этом я вижу время, его равномерное, слой за слоем, откладывание в прошлое. Туда, откуда, как из годовых колец дерево, складывается настоящее и будущее.

К тому же Леха-Ленька, его алкогольные циклы — их амплитуда тоже поражает природным каким-то постоянством и предсказуемостью. Знать эту фазу в деревне мне крайне важно, ведь на Лехе

в деревне электрика, дрова и лошадь. Эта фаза хорошо читается с первым снегом. Если следы ведут от избы к баньке, значит, сосед «выхаживается». Если снег протоптан к соседской избе — Леха на старте, но пару дней еще будет вязать лыко. Если следы в лес, Леха не пьет, торчит в лесу, рубит дрова.

Ну а если в деревне беспорядочно натоптано — как, например, сегодня — Леха на пике. В этот промежуток он не столько опасен, сколько назойлив. Чтобы избавиться от его общества, я всегда держу в багажнике пузырь дешевой водки и баклажку пива. Водку надо сунуть вечером, когда он подкатит к «барину» «с приездом». Она «прибьет» его на ночь. А пиво — на утро, поскольку с похмелюги он притащится обязательно, как только увидит дымок над крышей («Кто Леху поил?»). Досуг следующего вечера он, как правило, организовывает себе сам. То есть попросту исчезает из деревни.

Мой деревенский быт — незначительный, но докучный. Серьезных дел нет, но: натаскать и вымести, заткнуть и высушить, приподнять и подпереть, заменить и настроить, протопить — и так далее, далее.

Время в таких делах летит быстро. Вот соседка Таня в лес прошла мимо окон — а вот уже возвращается с полной корзиной. Только что улетучился с поля утренний туман, пористый и прозрачный — как с другого конца уже наползает густой вечерний. Но странное дело, это необременительное, быстрое время, наполненное незначительными мелочами — время, утекающее незаметно и безболезненно, — оставляет в тебе ощущение весомости, значимости. Никакими подвигами не отмеченное, оно не уходит в песок, не проходит даром — как *то*, городское время. А попадает прямым в прошлое, в его подпол. Где и накапливается, и зреет.

И тут сосед говорит мне:

— Послушай Леху, сходи на кладбище!

(Во время запоя он переходит на третье лицо.)

— Леха плохого не посоветует.

Старый ватник стоит на спине колом, Леха похож на горбатого. В кармане у него булькает разведенный спирт, основное деревенское пойло.

— Че ты мучаешься!

Прикладывается, вытирает рот рукавом.
Тычет потухшей спичкой в сторону проселка.

В лесу темно, но когда проселок выходит на аллею, видно макушки сосен, выкрашенные закатом в рыжий. Эта аллея — береза-сосна, береза-сосна — «барская», ее высадили для прогулок через поле. Так, по крайней мере, говорит легенда. Поле давно заросло березовой рощей, от усадьбы остались четыре стены и пруд с ключами.

А старые деревья, кривые и корявые, стоят.

По дороге на кладбище мне нравится воображать, как хорошо продолжить аллею до нашего хутора. В деревне первое время люди вообще немного Маниловы, так что список неотложных планов у меня огромный. Например, мне обязательно надо:

- обустроить родник;
- сделать на речке купальню;
- приделать к избе веранду;
- поставить баню;
- залатать протекающую крышу (срочно!);
- и построить на поле буддийскую ступу.

Чтобы залатать крышу, надо найти непьющего мужика, потому что у пьющего «нет времени» плюс «страхи» — на крышу он не полезет, побоится упасть (при том, что еще вчера этот человек сутки провалялся в канаве при ночных заморозках). И вот большая удача, спустя неделю разездов непьющий найден. Это Фока, он же Володя, — мужик лет пятидесяти, живущий за Льнозаводом.

— Ендова! — радостно орет мне этот Фока, озирая крышу. — Ендова у тебя текут, понял?

Я таращу глаза, но ничего не вижу. «Какие к черту ендова?»

Тогда Фока складывает «ендова» из газеты. Объясняет мне, как они устроены и что для их перекрытия надо перестилать скат всей крыши. Я слежу за его большими узловатыми пальцами, настоящими клешнями — это руки человека, который умеет держать инструмент.

Когда я приезжаю через неделю, Фока с парнишкой все перекрыли. Мы рассчитываемся. Складывая тысячные купюры в кошелек, Фока говорит, что собрался жениться. И что немного нервничает.

— Молодая, из города. — Он смотрит в пол. — Попросила, чтобы купил в машину музыку...

Я желаю ему удачи.

Осенью я сажаю за домом сосенку. Ендова и сосенка — на этом моя маниловщина кончается. Больше ничего предпринимать не буду, ну их. Так на человека действует великая инерция деревенской жизни. Сила, накопленная веками, которая противится любому начинанию, если это начинание не имеет прямого отношения к *настоящему*, то есть к *теплу* и *пище*.

Однако баня просто необходима. К соседу не набегаешься, неловко — а поставить новый сруб баснословно дорого. Еще вариант, можно взять старую. Одна такая, заброшенная, есть в соседней деревне. И вот мы — я и Леха — едем.

На вид баня очень страшная. Вся в лепестках сажи (топили по черному), кривая, со съехавшей набекрень крышей. Но Леха спокоен. Если поменять пару венцов, говорит он, и поставить новую печку, будет нормально.

— Чья баня? — спрашиваю на всякий случай.

— Шлёпина.

— ????

— Угорел в бане по пьяни.

На кладбище темно, над головой шумят березы.

Вытянув руку с трубкой, иду, как сапер, вдоль оград.

Ничего, ноль. Снова пусто.

Делаю шаг между травяных холмиков, огибаю одну могилу, вторую.

В трубке потрескивание, шорохи. Сигнал между заброшенным погостом и *столицей* вот-вот наладится. «Алло!» — наконец раздастся на том конце. «Ал-ло!»

Через пятки, упертые в натопленную лежанку, тепло растекается по телу. Мухи проснулись, жужжат — значит, изба натоплена как надо, до утра хватит.

Я читаю «Философию общего дела» Николая Федорова.

«...призываются все люди к познанию себя сынами, внуками, потомками предков. И такое познание есть история, не знающая людей недостойных памяти....»

«...истинно мировая скорбь есть сокрушение о недостатке любви к отцам и об излишке любви к себе самим; это скорбь о падении мира, об удалении сына от отца, следствия от причины...»

«...единство без слияния, различие без розни есть точное определение “сознания” и “жизни”...»

«...если религия есть культ предков, или совокупная молитва всех живущих о всех умерших, то в настоящее время нет религии, ибо при церквях уже нет кладбищ, а на самих кладбищах царствует мерзость запустения...»

«...для кладбищ, как и для музеев, недостаточно быть только хранилищем, местом хранения...»

«...запустение кладбищ есть естественное следствие упадка рода и превращение его в гражданство... кто же должен заботиться о памятниках, кто должен возратить сердца сынов отцам? Кто должен восстановить смысл памятников?»

«...для спасения кладбищ нужен переворот радикальный, нужно центр тяжести общества перенести на кладбище...»

Речь в книге густая, неразрывная — мысль рассеяна по каждой капсуле, вытащить цитату практически невозможно. Да и вне речи фраза выглядит нелепо, вздорно (что значит «перенести жизнь на кладбище»? Как вы себе это представляете?). Между тем, речь в «Философии» не оставляет сомнения в абсолютной, неоспоримой истинности. Завораживает именно это убеждение Федорова в собственной правоте. Не умозрительной, логической — а внутренней, личной. Как будто это вопрос его жизни и смерти, буквально.

Но почему этот вопрос не дает мне покоя тоже?

«Почему, — спрашиваю я себя, — когда стали переиздавать русскую философию, Николай Федоров прошел мимо меня? Почему я не заметил его?»

Я вспоминаю конец восьмидесятых, настоящий книжный бум. Толпы у лотков, очереди в магазинах. «Кого я читал тогда?»

Это был Бердяев — конечно. На газетной бумаге, в мягких обложках. Многотысячными тиражами, которых все равно не хватало. Я читал его как откровение, залпом.

«Так вот в какой стране я живу!» Задыхался от возбуждения.

«Вот какой у нее замысел!»

В отделах обмена книг (были такие при букинистах) Бердяева можно было выменять на Агату Кристи или Чейза. Прекрасно помню это ощущение — превращение воды в вино, ничто в золото. Или купить шальной экземпляр в газетном киоске на Пушкинской, где «Московские новости» (откровение в киоске, нормально).

Почему именно Бердяев? Почему сперва он, а после другие (Розанов, Лосев, Флоренский, Шпет)? Я объясняю это довольно просто — тем, что юноше требовалось обоснование страны, ее смысл. Юноше казалось, что связь с той страной сразу после распада Империи Зла восстановится. Что у меня появится великое прошлое — ведь то, что я учил в «Истории СССР-КПСС», прошлым я назвать никак не мог. Тогда мне казалось, что с падением СССР программа по реализации сверхзамысла страны, о котором говорил Бердяев, включится автоматически. *Не может* не включиться — после того, как они тут жили. Каких дров наломали.

А тут Федоров, музей на кладбищах. Сыны, отцы. Троица. Неурожай. Слишком фантазмагорично — и вместе с тем уж очень обыденно, бытово. По сравнению с бердяевским-то волхованием о судьбах Родины, о сверхидеях. О миссии.

Но проходит четверть века, и круг — кто бы мог подумать! — замыкается. Страна погружается в привычный и потому не очень страшный сон. В серую партийную спячку, изредка прерываемую терактами и показательными судами. Олимпиадами и юбилеями. Пожарами и техногенными катастрофами. Сквозь наспех, легкими чернилами набросанный в 90-х текст «новой, свободной России» в людях старшего поколения все отчетливее проступают старые, вбитые в комсомольской юности догмы. Они то ярче, то тусклее, да. Но они есть, никуда не делись. Сохранились — там, на самом жестком из дисков нашего сознания. И ты с ужасом понимаешь, что ничего другого эти люди так и не приобрели — за все отпущенное время. Не поменяли, остались со своим недалеким прошлым. Предпочли его — будущему.

Давно забыты и Бердяев, и Розанов, и Флоренский. Нет иллюзий, что история может пойти в ту сторону, куда они показывали. Что *русский европеизм* возможен не только в отдельных умах, не исключительно на бумаге. Пророком оказался не Достоевский, а Чаадаев. Миссия невыполнима — нет ни объекта, ни субъекта этой миссии. Старый материал безвозвратно уничтожен, а новый видоизменен. Какая уж тут миссия? После всего, что случилось за последние десять лет, сомнений почти не осталось.

«Простите, отцы-философы, — не оправдали».

И вот однажды по дороге в деревню я заезжаю в Торжок. Я набираю продуктов, а заодно заглядываю в книжный, купить почитать

(деревня возвращает наслаждение чтением). И вот в книжном мне случайно попадается томик Федорова. И я приезжаю в деревню, открываю книгу.

Боже мой, как все просто и правильно. Как точно — стоит поменять «кладбище» на «прошлое» («...для спасения *прошлого* нужен переворот радикальный, нужно центр тяжести общества перенести в *прошлое*...»).

«Где мое прошлое?» — спрашиваю себя.

«Кто наследует этот заброшенный погост и разрушенную церковь?»

«Льнозавод и Дом культуры?»

«Гнилые избы?»

«Кто наследник времени, когда все это стояло нетронутым?»

«А кто — когда было разрушено?»

«Какое прошлое брать за основу, за образец? За точку отсчета?»

Клубок вопросов кажется неразрешимым. Так вот откуда эта страсть — обнулять прошлое! Еще недавно я готов был объяснить этот феномен всеобщим российским пьянством (по принципу «вчера лучше не вспоминать»). Но, боюсь, тут вещи посильнее русского пьянства.

И еще один вопрос: если *это* не наше кладбище — то где наше кладбище?

Я медленно возвращаюсь по аллее в деревню.

Деревья в небе обметаны звездами, за лесом стучит карьер, подчеркивая тишину, которая в этих местах — *оглушающая*.

Человек живет прошлым, говорю я себе. Причем буквально, бытово — прошлым как накопленным опытом. Ничего, кроме собственного опыта — то есть прошлого, — у человека просто нет. И этот опыт, это прошлое есть макет будущего, ведь каждый твой шаг во времени мотивирован этим опытом. Но точно так же живут и общества, и страны. Стоят цивилизации. Объявляя отношение к прошлому, ты показываешь расчетное будущее. То, чему берешься соответствовать *дальше*. Чего придерживаться.

Есть страны, где сносят памятники одной эпохи, чтобы поставить памятники другой, — бывшая советская Средняя Азия. И мне понятно, куда такая страна движется. В странах Европы каждый кирпич пронумерован, прошлое не сдвинешь — и тут тоже все ясно. Но что

ждать от страны, прошлое которой в *таком* состоянии? Полуразрушенное или недовосстановленное, не до конца уничтоженное или полузаброшенное, *мерцающее* — оно оставляет прекрасную возможность: не отвечать за сегодня и завтра. Такое прошлое можно подминать под себя, трактовать так, как удобно — по ситуации. А что? Очень удобно, ноу-хау нашего времени. Федорову и не снилось.

Сознание живет памятью — ну, в том числе. Усилим обрести, восстановить прошлое. Это одна из высших форм его активности, способ существования. Способ самовоспроизведения. Особенно если рассматривать эту активность без эмоциональной нагрузки. Но отказаться от этой нагрузки — от эмоций, связанных с прошлым, — я тоже не могу. Не хочу, не желаю! Это — одна из форм моей душевной жизни, причем самая жизнетворная. Из тех, которые только и держат меня здесь, на поверхности. В жизни.

Можно обнулить прошлое, лишить память материала, а сознание — формы жизни. Можно вытеснить переживание любой потери, включая главную потерю — прошлого (или *отцов*, как сказал бы Федоров), позитивным раздражителем, лишь бы этот раздражитель поступал к потребителю бесперебойно, как это в потребительских обществах и бывает. И тогда не нужно будет никаких кладбищ, никакого прошлого.

Но готов ли человек при здравом размышлении согласиться на это?

Федоров говорил: общая память о прошлом делает людей «единицами», но не «слитными», «различными», но не «розными». Между прочим, на этой гениальной по простоте идее стоят современные цивилизации. Но философ не мог предвидеть масштаба, охвата. Генетической катастрофы советских лет и послесоветского смешения народов. Великой миграции, обнулившей прошлое эллинов и иудеев и перемешавшей их. Что считает своим прошлым московский дворник из Туркмении? московский клерк из Пензы? Где свое кладбище у московского художника из Баку или московского поэта из Ташкента?

И тут я слышу Лехин голос.

— А че? — хрипит он с того конца деревни. — Лехе можно, к Лехе друг приехал!

Ковыляя в мою сторону, он зачерпывает левым сапогом невидимые лужи. Из кармана торчит бутылка. Забравшись ко мне на пригорок, он садится на корточки. Раскачиваясь, закуривает.

Мы молча смотрим, как на поле выползает вечерний туман — длинными войлочными косами. В тумане бродит лошадь, но отсюда видно только ее голову и круп. Верхушки деревьев на розовом небе постепенно сливаются в черную строчку, набранную готическим шрифтом.

Зрелище невероятно картинное, эталонное, сошедшее с экрана — и в то же время натуральное, с комарами и запахами, Лехиними хрипами и далеким стуком карьера. И от всего этого, несовместимого и вместе с тем наглядного — и от избытка кислорода, конечно, — голова кружится.

— А че ты один-то? Че без друга? — Я невольно перенимаю его интонации.

— Порнушку смотрит. — Леха щурится на лес. — Поставил на видео.

Он оглядывает меня, подталкивает:

— Сходи посмотри, че ты...

Я никогда не был в избе у Лехи и потому иду, конечно. Я готов к худшему, но нет, в избе натоплено и чисто. Никакого алкоголического разора, только след общей скудости, истонченности, «застиранности» жизни лежит на всех предметах.

За печкой в кухне возится Лехина мать. То, что Леха живет со старухой-матерью, я узнал совсем недавно — в деревне ее было совсем не видно. Да и Лехино прошлое я тоже узнаю по обмолвкам, фрагментам. Работал в Волочке на заводе, пока тот не закрылся; когда пропил все, что имел в городе, перебрался к матери на ПМЖ («пока мать жива») — где и живет. Это вариант в деревне самый распространенный: можно пить не работая, пока есть материнская пенсия (баклашка спирта стоит полтинник, закуска растет в огороде, дрова стоят в лесу бесплатно — что еще?). Если мать пьет вместе с сыном, шансы на выживание у них равные, то есть равно минимальные. Если не пьет, сын погибает раньше.

Из комнаты налево, действительно, долетают недвусмысленные крики и стоны.

Я отодвигаю занавеску, вхожу.

Никого — только перед телевизором, где содрогаются части тел, стоит пустой стул.

Опускаю занавеску, тихо выхожу на улицу.

— Понравилось? — Леха сидит в той же позе, но уже по колено в тумане.

— Хороший у тебя друг.

— Надежный, — соглашается он.

— Как зовут?

— Шлёпа.

Утром, слезая с кровати, опускаешь ноги в выстуженный, обжигающий воздух — первые заморозки. Но с вечера я набил лежанку дровами, и теперь они, легкие и высохшие, занимаются от первой спички.

Печка топится, можно не вставать, полежать еще — пока не нагреется. Но вставать надо, ведь сегодня мы едем за Люськой. Так мы решили, *дачники*, — поселить в деревне Люську, поскольку в этот раз на зиму в город съедут все, кроме Лехи, а оставлять на Леху лошадь (да и вообще оставлять Леху) опасно. А Люська — баба надежная, умелая. Непьющая. У себя в деревне ей живется не очень, поскольку функции *одинокой бабы* — давать в долг на водку или наливать самой — она выполнять не хочет. Вот мы и предлагаем ей перезимовать у нас, где никого, тихо.

— Вот разве что Леха... — говорю я.

— Со скотиной язык имеется... — серьезно кивает Люська.

Я вопросительно смотрю на соседа. Когда Люська ныряет в подпол, тот рассказывает, что в прошлой жизни она была скотницей, то есть работала кнутом и окриком. И что алкаши ее побаиваются.

— Проблем не будет, мальчишки, — из подпола высовывается кудлатая голова.

И «мальчишки» перевозят ее кота и транзистор, десяток цветочных горшков и кастрюли, валенки и лыжи. А Люська едет следом на своем антикварном велосипеде.

— Люсь, посуда. — Я открываю створки, показываю. — Пользуйся.

— У меня свое, мальчик, — что ты.

В сенях на лавке выстраиваются банки с соленьями. На окна и печку Люська вешает пестрые занавески, в избе сразу становится уютно. Настольная лампа, абажур. Цветы на окнах.

— А ну! — замахивается в окно.

Леха отскакивает и, злобно бормоча, уходит.

Глядя, как ловко и аккуратно, *деликатно* обустроилась Люська — с какой легкостью принимает на себя такую обузу, зимовать в чужой избе, пасти чужую деревню — как неловко ей оттого, что мы все еще сомневаемся в правильности того, что делаем, — мне вдруг приходит в голову, что перед нами, возможно, *праведник*. Тот самый, без которого не стоит село. Только такой вот, заемный. Арендованный.

В последний перед отъездом день сосед-старожил решает показать меня по окрестным деревням. Конечная точка — Федоров Двор. От нас туда километров двадцать, но по развороченным «тонарами» дорогам на это уйдет часа два. «Если вообще проедем...»

Дорога — две залитые водой ямы, где отражаются трава и макушки елей. Сосед перебирает рычажки в машине, как четки. И джип медленно, но уверенно карабкается.

Мы встаем посреди огромной лесной прогалины. На взгорье лежит полоска леса. В траве несколько сосновых рощиц, как будто лес вокруг вырубил, а про эти сосны забыли. Постепенно глаз различает спрятанные в соснах курганы высотой метров около пяти-шести. Всего их пять, правильной формы — равнобедренный треугольник в разрезе.

Кое-где курганы подкопаны.

— Зря старались. — Сосед закуривает. — В девятом веке сжигали, а не закапывали.

Я смотрю на серое низкое небо, и как волнами колыхнется сухая трава. На приземистый мрачный лес, торчащий из-за пригорка. Мне не слишком верится, что у такого пейзажа — у этой невзрачной неуютной холодной земли — может быть *такое* прошлое. Однако оно есть, и от этой мысли — и от сознания того, что рядом теперь есть и моя изба, мой кусок земли, — на душе становится радостно и страшно.

Пригорки сменяются балками, холмы сбегают в самые настоящие ущелья. Я не верю глазам — на дне одного такого ущелья течет меж влажных валунов абсолютно горная, мелкая и ледяная, речка. Таких полно на Алтае, Кавказе — но здесь?

Выше по течению в кустах полощет белье женщина. Сосед гудит, она поднимает голову, улыбается. Мы едем дальше. Деревня Федоров Двор забралась на макушку лысого холма. Склон подкатывает к нам по-театральному внезапно, как декорация на колесах. С третьей попытки, по спирали, мы, наконец, поднимаемся.

Я выхожу из машины, озираюсь — и медленно сажусь на мокрую траву. За ущельем один за другим — холмы. Красные, желтые, зеленые (клен, береза, ель — осень!) — они лежат, как на картинах у Рериха, насколько хватает взгляда. До горизонта.

Над холмами низко ползут сливовые тучи. В разрывах между ними бьет солнце, отчего холмы попеременно вспыхивают, как бывает, если на сцене в театре пробовать свет. Но с Осветителем, который поставил свет в *этом* спектакле, соревноваться бессмысленно, разумеется.

Я ловлю себя на ощущении, что впервые за много лет вижу красоту, которая для меня — как бы это сказать? — небезосновательна. Потому что эта красота является частью реальности, живущей не только в настоящем времени — как все, виденные мной доселе, красоты мира.

Именно эту реальность я приобрел вместе с избой — за бесценок, как и положено самым удивительным вещам в жизни. Именно в этой реальности сочетались вещи, неспособные уложиться в моем сознании еще год назад. И вот теперь это нелепое, неразумное, дикое сочетание — языческих курганов и обреченных на вымирание деревень, гималайских просторов и заброшенных кладбищ с мобильной связью на могилах, этих алкоголических сумерек, где блуждают целые села — и людей вроде Фоки и Люськи, благодаря которым эти деревни еще не до конца померкли, вымерли, — именно это сочетание разбудило во мне то, что я мог бы назвать ощущением *прошло-го*. Помогло мне найти, включить его. Активизировать.

Возможно, это ощущение иллюзорно — не знаю! Но даже если это так (а это, скорее всего, так) — мне хочется не терять эту иллюзию как можно дольше. Сохранить, растянуть ее — поскольку другой иллюзии, настолько глубокой и бескорыстной, у меня еще не было. Ведь лучше считать себя усыновленным полузабытой деревней — считать своим заброшенное кладбище, — чем жить без прошлого или с тем прошлым, которое за тебя придумают те, на *горке*. Потому что *это*, спущенное сверху прошлое, будет уж точно не в мою пользу.

Кстати, этот процесс идет быстрее, чем кажется.

